

**В. В. Костецкий**

### **Знак и не-знак: критика абстрактной семиотики**

В статье предпринята попытка поиска причин, препятствующих развитию семиотики как науки. Из истории философии и науки известно, что семиотика за последние двадцать пять веков неоднократно возникала и каждый раз неожиданно прекращала свое существование. Авторские исследования теории значения Аристотеля, не совпадающие с традиционными трактовками, позволяют утверждать, что проблемы с семиотикой обусловлены ложным включением языка в систему знаков и ложным отождествлением знака и сигнала по примеру Ч. Пирса.

*Ключевые слова:* семиотика; знак; значение; язык; чтение; Аристотель; изобразительность; артистизм; субъект

**Victor Kostetsky**

### **Sign and Non-sign: Criticism of Abstract Semiotics**

The article attempts to find the reasons that hinder the development of semiotics as a science. It is known from the history of philosophy and science that semiotics has arisen repeatedly over the past twenty-five centuries, each time ceasing to exist unexpectedly. The author's studies of Aristotle's «theory of meaning» which do not coincide with traditional interpretations, allow us to assert that the problems with semiotics are caused by the false inclusion of language in the «system of signs» and the false identification of a sign and a signal, following the example of Ch. Peirce.

*Keywords:* semiotics; sign; meaning; language; reading; Aristotle; figurativeness; artistry; subject

... Не знаки и не числа  
Дадут ключи мирского смысла...  
И в сказках разгадают снова  
Историю пути мирского

*Новалис*

В гуманитарной среде кто не слышал о семиотике? Между тем такой науки нет и никогда не было. Семиотика – всего лишь проект, которому более двух тысяч лет. На протяжении столетий он регулярно умирал и возрождался с очередными надеждами, а затем тихо и незаметно сходил на нет. Греческое слово «символ» ‘знак’ вдохновляет на познание; греческое слово «символ» ‘символ’ пробуждает фантазию. Дело за учеными; ученые находятся, а дело нет. Познание как-то обрывается на середине, а фантазии уводят в религиозный или художественный символизм.

Древнейшая история знаков уходит в охотничий промысел: все животные оставляют знаки своего пребывания. Охотники по знакам делают верные выводы. В земледельческой цивилизации знаки работают уже не так непосредственно. Знаки хорошего или плохого урожая не настолько достоверны, как следы на земле, – приходится гадать. При гадании любой знак обращается в символ: требуется интерпретация.

С Античности начинаются попытки вернуть знаковым формам познания достоверность. Первой на этот путь вступает медицина. Уже Гиппократ ставит вопрос о познании процессов внутри организма по внешним признакам (симптомам). Задачи диагностики приводят к первым теоретическим выводам: знаки следует разделять на естественные и условные. Медицина должна учитывать естественные знаки и избегать смешения условных знаков с безусловными (естественными). Опора в диагнозе на естественные знаки привела Гиппократа к методу физиогномики. Греческое слово «гнома» означает маленькую, но значимую примету, которая при постановке диагноза играет решающую роль. Приметливый врач будет знатоком особого рода – гномоном. В термине «физиогномика» особо оговаривается, что гномы имеют природное, физическое происхождение.

Античность не игнорировала и условные знаки, среди которых самыми занятыми были знаки письменности, включая математические. Условные знаки тоже могут однозначно соответствовать реальности. Однако наглядность относительно соответствия реальности быстро теряется по мере абстрагирования. Например, знак «плюс» (объединение) в математике еще нагляден при предметном представлении, но адекватная замена суммирования умножением делает знак «умножение» не наглядным. Аналогичным образом возведение в третью степень еще наглядно (при представлении объема), но более высокие степени теряют всякую наглядность.

Особое смущение античных мыслителей вызвала явная условность в именовании вещей. Имя указывает на вещь и сохраняет это указание в отсутствие вещи в качестве мысли. Возникает тот самый «семиотический треугольник»: имя-вещь-мысль. У имени, соответственно, два значения: предметное и смысловое. Предметное значение вроде как еще естественное (безусловное), а смысловое значение при мышлении очень быстро теряет привязку к натуре. Например, «время идет». Что идет? Что значит «идет»? Однако, когда время измеряется числом и попадает в формулы физики, все идет как надо.

Античные риторы и софисты объявили язык системой знаков, но повис вопрос: условных или безусловных? Или условно-безусловных? Сам знак имени (звучание, написание) условен, но предметное значение безусловно; смысловое значение отчасти тоже безусловно. На том и порешили.

Пока грамматики пытались разобраться с вопросом, что собой представляет языковой знак, математики с неотвратимым напором вводили все новые и новые символы. В итоге тексты математиков стали доступными только посвященным. Математические знаки явным образом преобразовались в символы, причем не на основе гаданий. Математики для решения конкретных задач занимались символическими преобразованиями. Создавались абстрактные объекты, вводились абстрактные числа. Абстрактные операции над абстрактными объектами посредством абстрактных чисел в итоге

оборачивались конкретным решением конкретных задач. Символизм себя явно оправдывал.

Триумф математиков время от времени, от эпохи к эпохе, вдохновлял на символизм поэтов. В родной речи достаточно абстрактных слов с красивым звучанием, что позволяет намеками расцвечивать самое банальное происшествие. Поэтические аллюзии прекрасно выражали эмоции без определенности мысли. У поэтов возникла иллюзия, что абстракции обладают особой значимостью. Обращение к платоновской концепции двоemiрия, зафиксированной позднее в христианстве, подводило, казалось бы, под поэтический символизм философские основания. Однако философия Платона к символизму не имеет никакого отношения. К символизму тяготел Кант. Идеи Платона не символы. И даже слова в словаре родной речи не символы. Это нетрудно показать на примере детской речи. В онтогенезе структура речи претерпевает изменения. В так называемом младенческом лепете слова двуслоговые: ма-ма, му-му, кря-кря, гав-гав, хрю-хрю. Тем не менее они указывают на предметы, особенно в сопровождении с указательным жестом. То есть слова детского лепета являются знаками, они понятны родителям. Ребенок этими словами подает родителям знак, что он осознает, какое существо перед ним.

Слова взрослой речи структурированы иначе. В словах появляется то, что в логике называется «объемом понятия», так что одно слово входит в другое. И это уже далеко не знак. Знаки могут дополнять друг друга, противоречить друг другу, совмещаться между собой, но не входят знак в знак по типу единичное – общее. Так, в эмблеме герба много знаков, но знак короны на голове орла не является единичным представителем рода хищных пернатых: орел орлом, корона короной.

Слова взрослой речи увязаны между собой в систему, в которой имеет место логический вывод по схеме «если А больше В, а В больше С, то С меньше А». Соответствующим образом можно выстроить слова Иван-русский-человек. Когда эти слова выпадают из понятийного ряда, они превращаются в клички: одно время для немцев все русские были «иваны», для русских все немцы

«фрицы». Клички возвращают именам статус детской речи, статус знаков. Когда те или мыслители опускают язык человеческий до системы знаков, то это свидетельствует только о том, что мыслители не в теме.

Напротив, как только лингвисты погружаются в тему философии языка, так сразу обнаруживается то обстоятельство, что язык не сводится к системе знаков. Об этом начал говорить В. Гумбольдт, Ф. де Соссюр продолжил. Гумбольдт писал: «...сравнение (языков. – В. К.) привносит своеобразный смысл, отличающий язык от простых условных знаков, хотя в обиходе и проявляется склонность к такому отождествлению... Но, что еще важнее, такое изучение приучает дух видеть в словах нечто большее, нежели случайные звуки и условные знаки» [1, с. 365–366]. В свою очередь, Соссюр, трактуя язык как систему знаков, со ссылкой на У. Уитни писал, что «язык есть установление, не имеющее себе подобных» [5, с. 94]; язык ничему не аналогичен. Один из основоположников семиотики нашел удивительную и остроумную формулировку: язык есть такая система знаков, которая не похожа на все другие системы знаков. Логика этого определения по отношению к человеку будет выглядеть так: человек есть такая обезьяна, которая не похожа на всех других обезьян. Ну потому и не похожа, что человек все-таки не обезьяна. Соответственно, и язык не система знаков.

Современную моду на то, чтобы все превращать в систему знаков, ввел американец Ч. Пирс (1839–1914) в тренде нарождавшейся философии прагматизма. Пирс трактовал знак как сигнал кому-то о чем-то, после чего конкретизировал эту мысль в наборе терминов создаваемой «науки о знаках». По отношению к картине мира подход Пирса оправдан: «Все мироздание пронизано знаками, если оно вообще не выстроено из знаков». Конечно, сигнальное взаимодействие во вселенной трудно отрицать, хотя физика до сих пор его игнорирует.

Но уже к языку с «системой знаков» подходить бесполезно: слова не сигналият, а отсылают подальше, на просторы мысли. Слова предназначены не подавать сигнал в пределах видимости объекта и адресанта, а передавать мысль на расстояние порой

о неизвестном объекте неизвестному получателю. В этом смысл естественного человеческого языка, а не в подаче сигналов ради живой коммуникации. В живой коммуникации можно сказать: «Эй, ты, подай мне вон ту штуку», – и это будет понятно. Но нельзя понять фразу с оговоркой дополнительных условий типа: «Сначала пойди туда, поверни оттуда, еще пройди до самого конца, найдешь это и отправь всё за океан туда». Человеческий язык структурирован ради отсроченной сигнализации, а не ради знаковой коммуникации в пределах визуального общения. Ф. де Соссюр считал эту мысль основной в понимании того, что определяется как язык: «...мы по-настоящему поймем сущность знака (языкового. – В. К.) только тогда, когда убедимся, что его не только можно передавать, но что он по самой своей природе предназначен для передачи» [5, с. 103].

Согласимся с тем, что язык «по самой своей природе предназначен для передачи» мысли за пределы визуального общения, только возникает вопрос: за счет чего? Ответ на него будет неожиданным для лингвистов: прежде всего за счет утраты знаком указания на вещь, за счет утраты функции сигнала. Уже логическое определение «через род и видовое отличие» проходит мимо указания на объект и не предполагает интерпретации родового понятия. В примере «термометр – это прибор, предназначенный для измерения температуры» родовое понятие «прибор» предполагается известным и принимается за аксиому, а видовое отличие лишь сужает объем родового понятия, не более того. Какое-либо «указание» на конкретные вещи вообще отсутствует. Именно за счет отсутствия указания при логическом определении понятия («тыкания пальцем в объект») абстрактное движение мысли конкретно следует за реальными событиями, вплоть до «тождества бытия и мышления».

Тезис о тождестве бытия и мышления в истории философии возникал неоднократно, в разные эпохи с разным содержанием. Появлялся он в ранней античной философии, маячил у Платона, превозносился в средневековом богословии, нашел приют в классической немецкой философии XIX в. Однако только

у Аристотеля он имел реальное логико-лингвистическое значение.

Во времена Аристотеля в ходу были попытки определять значение слова через семиотический треугольник, априори полагая слово языковым знаком. Так поступали софисты, Демокрит, Платон. Этой авторитетной традиции Аристотель тоже поддался в трактате «Об истолковании». Существует много статей, даже диссертаций об Аристотеле [8; 9], которые увязывают аристотелевскую теорию значения с трактатом «Об истолковании». И это неверно. Аристотель не сразу, но в конце концов пришел к выводу, что семиотический треугольник не выводит на логику – «аналитику» в его именовании. Об этом свидетельствует первый трактат «Органона» под названием «Категории». Именно в «Категориях» появляется оборот «одно сказывается о другом» (Аристотель. Категории. 4. 25): живое существо сказывается о человеке, а человек сказывается об отдельном человеке. Сказывается: и языком, и телесно (бытием). Особенность этого примера в том, что на отдельного человека можно указать (хоть пальцем), а на человека (вообще) указать пальцем нельзя, как и на живое существо (вообще). При абстрагировании указание обрывается. В логике слова перестают быть знаками. Поэтому Аристотель резко меняет то, что называют теорией значения применительно к языковому знаку.

Вся «Метафизика» построена на совершенно иной теории значения, чем это было в трактате «Об истолковании», причем Аристотель ее не проговаривает непосвященным. В слове по-прежнему Аристотель выделяет предметное значение и смысловое, только предметным значением будет указание не на вещь (объект), а на рассказы об этой вещи. Сама вещь изымается из указания, объектом становятся многочисленные рассказы о вещи. Многочисленные рассказы объединяются под общим названием – общее название рассказов и будет «имя вещи». Например, есть многочисленные рассказы о волке. Названием собранных рассказов будет «Волк», – так будет именоваться сам объект. При этом любой реальный волк, хоть из зоопарка, может являться знаком «рассказов о волке»: «Вот он, это о нем рассказы!». Рассказы – объект, а вещь и ее имя – знаки

рассказов. Причем и вещь, и ее имя по отношению к сумме рассказов являются взаимозаменяемыми в качестве «означающих». Мысль и вещь совпали по отношению к объекту – с этого и начинается методология метафизики.

Аристотель любое понятие начинает рассматривать с рассказов о том, как его понимали другие, и не ради истории. Рассказы выявляют объект, а имя, данное рассказам, образует понятие об объекте и его «объеме». Именно рассказы задают «объемность» понятия. Например, есть рассказы о людях, разных людях. А есть много рассказов о Сократе, отдельном человеке. Но эти рассказы пересекаются: многое из того, что говорится о многих людях, говорится и о Сократе. Так образуется силлогизм: «Смертные – говорится о людях, человек – говорится о Сократе; вывод: смертный – придется сказать и о Сократе». В посылках речь идет о том, о чем вообще «говорится-сказывается», а вывод получается конкретный о конкретном человеке, причем вывод истинный.

Точно так же работает язык в математике. Например, о шаре, подвергая его «сечениям», можно много чего наговорить: про диаметр, радиус, хорды, поверхность, объем, сегменты, – в результате сформировать определения понятий, между которыми выявить логические связи. Например, шар – фигура, образованная вращением круга вокруг любого диаметра. Диаметр можно перевести в диск, а совокупность дисков, на которые распадается шар, позволит вычислить объем шара путем суммирования-интегрирования объемов дисков. Чем больше будет собрано рассказов о шаре, тем больше формул можно вывести касательно шара. У Аристотеля триединство язык – логика – математика как раз и образует метафизику как его личный метод философствования. Все понятия в математике являются именами рассказов, но в равной мере эти рассказы обозначаются реальной вещью, имя которой зафиксировано в понятии.

Специфика аристотелевского философствования в том, что Аристотель вывел язык за пределы человеческого общения. Языки эллинов, латинян, индусов, семитов, персов при всех различиях

между собой в отношении Логоса тождественны. Различия в знаках (фонем, морфем и пр.) безразличны по отношению к самой процедуре «сказываемого». Аристотель приводит пример: «Человек – сказывается о Сократе». У вдумчивого читателя возникают закономерные вопросы: «Кем сказывается, каким языком?» Вопрос остается без ответа со стороны текстов Аристотеля, так что читатель остается в недоумении. Ответ на этот вопрос в современной западной философии знали совсем немногие, например М. Мерло-Понти, О. Шпенглер, М. Хайдеггер; из более ранних философов – Г. Гегель. Мерло-Понти даже иронизировал по этому поводу: «Послушаем, что говорит Мариво: «Я и не думал называть Вас кокеткой. – Это было сказано до того, как об этом подумалось»» [3, с. 24]. Об этом же пишет Шпенглер: «Ребенок говорит задолго до того, как он выучил первое слово» [7, с. 135]. Словам, и даже жестам, многое предшествует.

Аристотелевская манера строить высказывание по типу «Человек – сказывается о Сократе» была подправлена в период эллинизма следующим образом: «Сократ есть человек». Подмена была замечена по существу только в XX в. польским логиком Я. Лукасевичем [2]. Причем Лукасевич так и не понял, зачем Аристотель в суждении менял субъект и предикат местами; вопрос, поставленный им, повис в воздухе. Для логики действительно нет разницы: от перемены мест субъекта и предиката в суждении ничего не меняется. Но Аристотель исходил не из логики, которой еще не было, а из философии языка, в которой уже стояла проблема значения языкового знака в плане условности-безусловности. Проблемность этой темы сохраняется до сих пор.

Собственное решение теории значения у Аристотеля сводится к тому, что правом «сказываться» обладают все вещи, в том числе в силу энтелехии. «Человек – сказывается о Сократе» не эллином, персом, семитом, индусом, а самой онтологией Сократа: его телом, фигурой, жестами, одеждой. Сократ узнаваем. Даже собаки не обманутся в том, что Сократ человек (как другие), а не птица, рыба, фрукт. Не только Сократ сказывается собою о себе своим телом, своим особым «бытием», но и все

вещи сказываются о себе. М. Хайдеггер будет добавлять, что вещи «кажут себя», даже «подставляются взгляду». У Аристотеля за это отвечала энтелехия, а Хайдеггер выступит с требованием считать субъектом не только условного «человека», но и все вещи: «...метафизическое понятие субъекта не имеет ближайшим образом никакого подчеркнутого отношения к человеку и тем более к Я» [6, с. 48]. Вещи – субъектны; их субъектность отчасти в том и состоит, чтобы казаться-сказываться и, добавлю от себя – называть за непонимание. Вещи сказываются о себе, подставляя себя взгляду, а непонятливых наказывают.

Принцип платоновской философии «никакая вещь не сводится к ее телу» (с отсылкой к идее) Аристотель посредством собственно-го термина «энтелехия» связывает, во-первых, с телеологичностью вещей (целеустремленностью), во-вторых, с неким подобием энтузиазма – феноменом, хорошо ему знакомым по медицинским и фракийским источникам. Не случайно психологию театральной трагедии Аристотель пояснил термином «катарсис». В «Политике» Аристотель дал свое определение энтузиазма, впоследствии почти дословно повторенное Кантом: «...энтузиазм есть возбуждение нравственной части души» (Аристотель. Политика. Кн. 8. 5. 5). У Аристотеля при всей его логической интеллектуальности очень трогательное, даже трепетное отношение к миру, как бы подобному ему самому, что видно, например, из его завещания супруге (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Кн. 5. 12–16) или отдельных личных ремарок. «Каждый может рассердиться, это легко, – замечает Аристотель, – но рассердиться тогда, когда нужно, на того, кого нужно, и так, как нужно – это дано не каждому». Или его определение порядочности: «Порядочность и порядочный человек – это тот, кто довольствуется меньшим того, на что имеет законное право» (Аристотель. Большая этика. Кн. 2. 25).

Аристотеля перестали понимать едва ли не сразу после его смерти и не факт, что вообще понимали. В эпоху эллинизма началась адаптация то под Платона, то под натурфилософов, то под софистов. В качестве исключения можно назвать разве что Цицерона и Сенеку. Аристотеля оценили и пришли в восторг ученые Халифата

Аль-Фараби, Ибн-Сина – математики, медики, логики, поэты. Через них тексты Аристотеля перешли к христианским богословам, и вновь начались заумные интерпретации, которые столь заформализовали Аристотеля, что Парацельс пришел к выводу: «Все, написанное Аристотелем, ложно». Г. Галилей подлил масла в огонь опытами, в которых с Пизанской башни тела падали с одинаковой скоростью независимо от веса, вопреки предсказанию Аристотеля. Разворот «от Аристотеля», обозначившийся в Новое время, закрывал путь европейской философии на столетия. Традиции аристотелевской философии поддерживались только в Падуанском университете. По «странному» стечению обстоятельств его оканчивали Николай Коперник, Уильям Гарвей, Николай Кузанский, Леон Баттиста Альберти, Бернардино Телезио, Андреас Везалий, Галилео Галилей – те, кто делал науку изначально. Живое возвращение к Аристотелю осуществил Г. Гегель со своим «спекулятивным методом», причем сам остался непонятым современниками. Манеру гегелевского философствования Л. Фейербах называл «пьяными спекуляциями», а А. Шопенгауэр и вовсе «шарлатанством». К. Маркс с Ф. Энгельсом все пытались «перевернуть Гегеля с головы на ноги», а в итоге получили «материалистическую диалектику» и «учение о формациях» в лучших традициях позитивизма. От позитивизма и материалистического понимания истории, возможно, более всего пострадала философия языка. На веру были приняты два постулата: язык – средство общения и язык – знаковая система. Оба постулата кажутся верными, даже очевидными, но в основе своей оба ложны.

В живой природе распространены сигнальные формы коммуникации. Сигналы вызывают определенные реакции, порой рефлексy. Человек не исключение, тоже наделен системой коммуникации в виде жестов, мимики, голоса. Существует понятие «язык тела», в котором слово «язык» используется некорректно, так же как в выражениях «язык животных», «язык программирования». Это не языки, а сигнализация. Человеческий язык является тоже сигнализацией, но только в младенческом возрасте. В других случаях речевая сигнализация является лишь одним из способов использования родного языка.

Язык, по Ф. де Соссюру, — странная знаковая система, непохожая на все другие знаковые системы. Странностей много. Одна из них, пропущенная Соссюром, состоит в том, что бытие системы языка состоит в ее исчезновении. Типичный пример представлен хорошим переводчиком — при работе его не замечают. Точно так же бытие пищи состоит в ее исчезновении. Нельзя из пищи сделать памятник. Язык точно так же есть исчезающая в своем бытии система знаков, переходящая в визионерство мышления: логического, музыкального, математического, поэтического. И. Фихте в «Фактах сознания» сделал интересное наблюдение. «Когда я мыслю о том, о чем мыслю, — писал он, — я не мыслю о том, что мыслю. Когда я мыслю, что мыслю, я не мыслю о том, о чем мыслю». По этой причине семиотика невозможна: знаки уничтожаются их собственным бытием.

Семиотика в том виде, в каком ее пытались создать, невозможна по той же причине, по какой стала возможна математика. Чтобы это понять, достаточно ответить на вопрос, почему математика не ограничилась начальной арифметикой? Что-то же позволило математике продвинуться из прагматической сферы торговли в сферу интеллектуальную? Да, два обстоятельства: уход от предметности (указания) и движение мысли по объемам понятий. Число, например 9, не указывает на количество яблок, группу людей и тому подобное. Число 9 «указывает» только на произвольный ряд типа:  $3 \times 3$ ,  $27 : 3$ ,  $117 : 13$  и прочие отношения-соотношения. Подобные трансформации по денатурализации претерпевают и операции над числами (нельзя логарифмировать яблоки или умножать тонны на километры), а числа позволяют формировать новые понятия со строгими определениями.

Семиотика была бы возможной, если бы знаки порождали знаки, но этого не происходит: знак является знаком чего-то, и только. Можно выстроить цепочку по принципу знак знака, которая если куда и приведет, то, скорее всего, к шизофрении. Логика, как и математика, стала возможной благодаря тому, что обошла стороной объект-в-натуре: объект заменен рассказами о нем. И это сделал один человек — Аристотель, он же первооткрыватель так

называемой формальной логики. Если провозглашаемая семиотика в самом деле сосредоточится на знаках, то превратится в вид искусства типа каллиграфии: из нее исчезнет дискурсивность, без чего науки быть не может.

Однако желание из знаков создать науку семиотику неистребимо, как желание вечного двигателя. И слово красивое, и успехи символизма в математике вдохновляют. Можно классифицировать референции, значения, интерпретации, виды знаков. Только почему-то сначала результаты идут лавиной, а потом так же быстро иссякают. Причина обнаруживается-де быстро: символ бесконечен в своей многозначности. И это ложь.

Многозначность и бесконечность символа надуманны. Если символы четко разделить на две группы: условные и безусловные (естественные, физические), то никакой загадочной символичности не будет. Государственный флаг – условный знак страны, дым – естественный знак огня – что тут загадочного? Но загадочность в знаках можно создать искусственно: в условных символах «обнаружить» естественность, а в естественных символах «обнаружить» условность. Например, государственный флаг есть символ условный: условны цвет, размер, эмблемы. Но если флаг превратить в фетиш рассказами о пролитой за знамя крови, верности воинских частей знамени, торжеству знамени в спорте и на дипломатических приемах, то в условной расцветке флага можно усмотреть виды родного ландшафта, черты национального костюма, особенности национального характера, прошлое и будущее государства. Тогда во флаг-символ можно всматриваться, не сводить с него глаз, даже плакать от избытка разных эмоций. Символ рождается не из знака, а из фетишизма.

Точно таким же образом фетишизм позволяет в естественных знаках увидеть «знамения» или придумать их. Типичные примеры можно привести из области музейных артефактов. Вот табакерка Тараса Бульбы, вот пепел сожженной рукописи Н. В. Гоголя. Реальные вещи исторического прошлого реально знаменательны, но это знаменательность иного рода, чем фетишизм или символизм. Знаменательные вещи говорящи, и отнюдь не «языком символов».

Подобно тому как музыка беспредметна, но изобразительна, музейные вещи в молчании своем оказываются говорящими. Не все услышат, но это уже другая тема. Э. Гофман говорил: «...я разделил всех людей на две неравные части. Одни хорошие люди, но плохие музыканты, другие истинные музыканты». Не о музыкантах, конечно, речь.

Если сосредоточить внимание на системе знаков, не требуя от нее дискурса наподобие логики, математики, музыки, литературы, то символизм будет конкурировать с артистизмом, всегда уступая ему в значительности эстетического созерцания. Символизм как непосредственный продукт фетишизма исторически родственен артистизму на основе того явления, которое этнографы называют «партиципацией»: по части целое. Например, юный индеец на тропе находит перо орла. Орел мальчугану нравится: сильный, независимый, свободный. С пером орла трудно расстаться. В итоге оно венчает головной убор будущего воина и меняется вся жестовость его тела: взгляд, осанка, походка, мимика, голос. Теперь юноша сильный, независимый, свободный. Налицо феномен артистизма. При этом он не играет роль, а преобразается; происходит обращение-преображение, сублимация, при которой перо орла превращается в истинный символ. И этот символ не имеет никакого отношения к семиотике или двоемирию.

Символизм в искусстве оправдан лишь в той мере, в какой он не заслоняет собою артистизм. В противном случае символизм продельывает обратный путь: от артистизма к фетишизму, от фетишизма к надуманной мифологизации, от мифов к лозунгам и, в конечном счете, к наглой суете слов, звуков, красок.

В любом знаке-символе есть качество, восходящее к феномену артистизма. В артистизме есть то, что оживляет всю мертвую механику знаковых систем – изобразительность. Причем изобразительность не обязательно должна быть наглядной: музыка изобразительна, но беспредметна. Язык прежде всего изобразителен и лишь в последнюю очередь сигнален. Вся терминология типа «представляет», «замещает», «отсылает» является эпифеноменом изобразительности.

Человеческий, разговорный язык существует непременно в стихии изобразительности. И все, что восходит к языку: от разговорной речи и поэзии до живописи, музыки, математики – будет изобразительным. Все так называемые языки за пределами человеческого языка не изобразительны, а только сигнальны. Человеческий язык тоже способен выполнять функцию сигналов, но это его попутная обязанность. При чрезмерном обращении к сигнальности языка возникает косноязычие с обращением к жестовости и экспрессивной фразеологии, ненормативной лексике. Сила так называемого матерного языка в свертывании изобразительности в пользу сигнала. Фразы матерного языка не надо представлять, надо ими доставать до адресата в плане поведения.

Для понимания феномена изобразительности полезно обратиться к актерскому опыту. В театральной практике есть этюды, в которых актер изображает вещи: пыхтящий самовар, старый ботинок, лопнувший воздушный шарик. Актер собой изображает не себя. Но, изображая не себя, актер тем самым изображает себя – как профессионала, как личность, как художника.

Актер, изображающий вещь, не перестает быть собой; более того, он не скрывает того, что это игра, его игра. В этой ситуации ошибочно видеть семиозис, символизм, семиотические структуры. Человек-в-роли не есть знак персонажа – точно так же, как человек на должности не есть знак должности или должностных обязанностей. В математике подобная ситуация называется подстановкой, суппозицией. Например, в выражении  $x : 3 = 3$  равенство  $9 = x$  означает, что  $x$  «в роли» 9. При этом ни 9 не является знаком  $x$ , ни  $x$  не является знаком 9. Икс – графически знак, но в действительности это число, хотя и неизвестное до поры до времени. Икс изображает собой 9. В свою очередь, цифра девять в данном уравнении изображает собой не себя красивую, а число «трижды три».

В актерской практике изобразительность означает, как и в математике, игру подстановок, а не перебор символов, хотя перебор подстановок сопровождается символическими обозначениями. Это

совсем иной процесс, чем семиозис, и его уместно обозначить специальным термином «артиосис». Попутно можно заметить, что в алгебре есть свой артистизм, равно как в артистизме есть своя алгебра с ее алгоритмами и комбинациями. В математической записи знак «равно» означает, как правило, не тавтологию, а аналогию. Аналогия сближает искусство и математику, поскольку в ней есть сравнение, приравнивание одного другому, выражение одного через другое. Чего нет в аналогии, так это связки означаемое-означающее, нет обозначений. Так, дым может служить знаком огня, но не может быть его аналогом. Напротив, Александр Македонский может быть аналогом героя, равно как герой может быть аналогом Александра Македонского, но не знаком его. Как научная дисциплина семиотика на сегодняшний день далека от своей теоретической ясности, поэтому не способна выполнять методологическую роль.

Когда Ч. Пирс разделил знаки на знаки-иконы (например, фотография), знаки-индексы (например, дым и огонь), знаки-символы (государственный флаг), он тем самым изначально закрыл путь какому-либо развитию семиотики. А после того как Ч. Пирс и Ф. де Соссюр ввели в воображаемую систему знаков слово (язык), семиотика стала невозможной. Слово – это подстановка, суппозиция; оно не-знак. Точно так же математические объекты – это не-знаки, они – подстановки. Классики семиотики отождествили знаки и суппозиции, после чего попытались за счет гибрида провести какой-либо дискурс. У Пирса это многочисленные классификации, у де Соссюра – попытки алгебраизировать знак за счет отождествления знака с системой отношений по типу теории множеств. Но алгебра потому и возможна, что она основана не на знаках, а на подстановках. Причем подстановка банально восходит к механическим весам: одна чаша весов – другая чаша весов, а что в качестве груза – безразлично. Посредством последовательного взвешивания можно решать многие задачи, например, определять долю золота в ювелирном украшении. Последовательное взвешивание обеспечивает ход рассуждений дискурсом, алгоритмом, отчего возможной становится алгебра.

Груз на чаше весов при записи последовательности операций (взвешиваний) обозначается числом с буквой (количеством и видом груза), так возникает алгебраический символ. Алгебраический символ обозначает не предмет сам по себе, а предмет на чаше весов. Разница такая же, как между стулом и электрическим стулом. Предмет-на-чаше-весов приобретает измерение – по другой чаше весов, тем самым образуя систему подстановок и вступая в нее. Математическое мышление осуществляется в подстановках, а подстановки лишь помечаются знаками вроде как «для памяти». Последовательная смена подстановок образует комбинации, алгоритмы, дискурсы. Запись подстановок и их последовательных операций выглядит комбинацией символов. Символ выступает условным знаком подстановки, но подстановка всегда восходит к натуральному «грузу на чаше весов». Таким способом на чашах весов оказываются по одну сторону длина окружности, по другую радиус, или по одну сторону длина окружности, по другую площадь круга, или по одну сторону сила, по другую сторону ускорение. На чашах весов «реальные грузы», а отношения на весах чисто количественные: так появляются формулы.

Ф. де Соссюр пытался в своей философии языка язык свести к формулам, а формулы фонем, морфем, синтаксиса свести к системе отношений, закрепленных в условных знаках. Однако отношения между подстановками невозможно перенести на систему условных знаков, поэтому проект семиотики Соссюра естественным образом не состоялся. Аналогичным образом рухнули нагромождения классификаций Ч. Пирса. Если Пирс определил знак как сигнал, то вся изобразительность и алгебраичность выпадают из учения о знаках по существу. Сигнал не обязан быть изобразительным или равным чему-то; его назначение другое.

Пирс довольно произвольно приравнивал между собой знак и сигнал в качестве аксиомы для своих теорий. Между тем оба понятия не определены. Например, отпечаток следов зверя на песке – знак, сигнал, еще что-то? Очевидно, что животное, оставляя следы, не собиралось сигнализировать о себе и кому-то по-

давать знаки. Другое дело, когда животное метит свою территорию, сигнализирует. На сигнал у животных есть реакция, рефлекс; у человека иное отношение: он читает следы, и чтение делает их знаками.

Знак начинается с чтения, и чтение предшествует письму. Уже первобытный охотник читает следы животных, и это чтение делает следы знаками. Охотник идет по следу не по запаху и не след в след. Для охотника следы животных являются письменами, поскольку он их читает, превращая в рассказы. Охотник «рассказывает» след: вот зверь зашел, вот отвлекся, вот принял стойку, насторожился, вот укрылся. Человек всматривается в отпечатки следов, и отпечатки для него превращаются в слова, в фразы, в рассказы, в видения. Так и музыкант, просматривая нотный текст – кляксы нот на полосатом стане, – слышит музыку: читает знаки. Чтение создает знак из чего угодно: следов ног на песке, закорючек букв на бумаге, конденсации пара в камере Вильсона, колебаний воздуха в звуковом диапазоне. Все, что читаемо, предполагает обращение материала в знак.

Чтение и знак – понятия соотносительные, подобно аристотелевским примерам господина и раба, не существующих друг без друга. Господин – всегда господин раба, раб – раб господина; нет одного, нет и другого. То, что называют «чтением», есть всегда «чтение знаков», а где эти знаки располагаются (на бумаге, холсте, песке, небе, в книгах, в свитках, в звуках, в запахах), для чтения не имеет значения. Не абстрактный семиозис образует знаковую ситуацию, а любой реальный процесс чтения. Знак существует исключительно в парадигме чтения. Знак читаем – и эта ситуация весьма далека от сигнализации. Сигнализация прагматична, чтение непрагматично. Как известно, читать можно совершенно не нужные вещи, причем чтение ненужных вещей может образовывать нужное знание впрок (отсроченное знание).

В прагматизме Ч. Пирса знак и сигнал отождествлены, после чего терминологическая путаница и бесконечные оговорки становятся неизбежными. Все термины, которые вводит Пирс, он сам же вынуждено оговаривает. Знаки-де делятся на иконки,

индексы и символы, только в реальных знаках от каждого понемногу: «...самые совершенные из знаков те, в которых иконические, индексальные и символические признаки смешаны по возможности в равных пропорциях» [4, с. 106]. Мудро.

В отличие от глубокомысленного «семиозиса» Пирса, при реальном чтении знаков все знаки делятся однозначно на условные и естественные. Знак при чтении всегда материальная вещь, причем по происхождению либо искусственная, либо естественная – третьего не дано. Даже тот факт, что вещи искусственного происхождения сделаны из природных материалов, ничего не меняет. Совершенно иная ситуация у Пирса. Спрашивается, зачем естественные знаки типа дым – огонь Пирс называет знаками-индексами, знаками по смежности? Вся смежность сводится к паре причина – следствие. Между тем эта уловка необходима Пирсу для дальнейших рассуждений, когда речь пойдет о математике и ее символах. Загадка в том, что алгебраические расчеты вроде осуществляются в условных знаках, но условные операции почему-то реально приводят к верному результату. Получается, что алгебра аналогична химии: в химии ряд реальных преобразований приводит к реальному результату. Придуманый Пирсом «знак по смежности» якобы объясняет сразу и математику, и язык по принципу кукольного театра: движения куклы и рук кукольника координированы. Объяснения очень странных феноменов математики и языка у Пирса идут в духе «очевидностей» эпохи Просвещения: сознание – функция мозга, религия – встреча дурака с обманщиком. Знак-индекс у Пирса является условно-безусловным: сохраняя театрально-кукольным образом причинно-следственную связь, индекс безусловен; будучи обозначением, индекс условен. Возникает теоретическая химера, которой можно объяснять все что угодно: хоть язык, хоть математику, хоть музыку с поэзией.

В отличие от теоретизирований Пирса, язык как таковой, в том числе язык математики («язык чисел»), основан не на индексах, поэтому требуется понимание «теории сказываемого» Аристотеля. У Аристотеля не слово является знаком вещи, а вещь является знаком рассказов о ней наряду с именем вещи. Вещь

и имя совершенно равноправны по отношению к обозначению рассказов о вещи, отчего и возможно, например, в грамматическом предложении заменять имя на местоимение. Число как таковое аналогично местоимению в языке. Например, 9, IX – это не число яблок или веков, а серия отношений типа  $36:4$ ,  $63:7$ ,  $117:13$ . Если «рассказы» о такого рода отношениях приравнять друг к другу, тогда и возникнет «это=9». Аналогичным образом существует понятие «окружность»: математик не будет представлять себе блины или солнце с луной, даже круг не будет представлять, поскольку окружность есть геометрическое место точек на плоскости, равноудаленное от точки отсчета. Солнце, блин, луна в их видимости будут подстановкой, суппозицией этого определения. Никакой причинно-следственной связи между видимым солнцем и определением окружности нет и в помине, хотя что-то общее есть. «Индекс!» – возопит последователь Ч. Пирса. Более того, в знаках-индексах типа «окружность», «круг», «шар» сам Пирс потребовал бы еще увидеть «икону» и «символ», что невооруженным глазом заметно. Только шар в математике не определяется по отношению к яблокам или арбузам, потому и не является знаком-индексом, он представляет собой не круглые вещи в качестве знака-индекса, а геометрическое место точек, вращение круга вокруг диаметра, фигуры с объемом в соответствии с определенной формулой и еще бог знает какие определения. Любое определение в математике начинается с местоимения «это»; символ в математике именно «это» и обозначает собой. Математические понятия «местоименны», что необходимо и удобно для чтения, но бесполезно при сигнализации.

Чтение – очень странный процесс. В эпоху Реформации, когда возникла проблема выбора между католицизмом и протестантизмом, выживание конфессий зависело от скорости обучения прихожан грамоте. Оказалось, что если алфавит заучивать по названиям букв типа «азь», «буки», то прочитать слово буки-азь-буки-азь будет для большинства обучаемых невозможным. Г. В. Плеханов даже дразнилку придумал: «Буки аз, буки, аз – счастье в азбуке для вас». При чтении нельзя делать

остановку на буквах; чтение требует скорости, речения, потока. При чтении по знакам сами знаки служат не для обозначения, а для узнавания. Знаки напоминают, а не сигнализируют. И напоминают знаки не вещи, а рассказы о них. Для Аристотеля не рассказ состоит из слов, что привычно для обывательского представления и филологов, а слово «состоит» из рассказов, является заглавием рассказов. Точно таким же образом число является заглавием рассказов. И формула в естественных науках есть не более, чем заглавие рассказов.

Что касается иконических знаков типа «рисованного письма», то Пирс не склонен уделять им особого внимания по той причине, что иконические знаки не используются, например, в алгебре или алфавитной письменности. Доля истины в таком подходе есть, поскольку знаки-иконы и знаки-индексы в своем противостоянии условным знакам образуют одну общую группу, которую Пирс вынуждено разделил на две части с учетом так называемого рисованного письма. Рисованное письмо при чтении ничем не отличается от чтения естественных знаков типа следов ног на песке, только знаки имеют искусственное происхождение. Знаки-иконы не более чем частный вид знаков-индексов, что можно продемонстрировать на примере следов от ног на песке: это иконки или индексы? Вопрос можно усложнить: следы возникли как естественно-физическое явление или оставлены специально? Отпечатки ног на песке может и похожи на ноги, но никак не на обладателя ног. В этом примере знаки-индексы и знаки-иконы беспорядочно перемешиваются между собой ввиду их надуманной классификации. Путаница происходит из-за того, что возникновение знаков объясняется письмом, в то время как знаки возникают исключительно за счет чтения. Чтение предшествует письму. Человек читает даже то, что никто не писал; например, физиогномика или «письмена» в лесу: север, юг, наличие живности или воды.

Сам процесс под названием «чтение» требует скорости, как и езда на велосипеде, прыжок через пропасть или полет самолета. С технической точки зрения это означает, что переход от знака

к знаку должен быть непрерывным. Связный переход от буквы к букве, от знака к знаку обеспечивается исключительно фактором изобразительности, в том числе за счет таких механизмов, как объем понятия и партиципация. В непрерывной речи изображение следующего слова возникает до того, как будет прочитано текущее слово за счет флективного строя языка или порядка слов в предложении. В речи последующее слово всегда подготовлено самой структурой языка, оно ожидаемо, причем ожидаемо в интересах изобразительности. В итоге сказанное всегда является увиденным, и не глазами, а умозрительно, «спекулятивно», как выражался Гегель.

Соотнесенность знака с чтением приводит к той самой ситуации, над которой смеялись после трактатов Дж. Беркли: пахнет ли роза, когда ее никто не нюхает? Аналогичным образом: являются ли дорожные знаки знаками, когда их никто не видит? Нет, не являются – это просто стенды. В шоу «Угадай мелодию» кто-то не может угадать с семи нот, и тогда семь нот мелодии для него не знак. Кто-то угадает с трех нот, тогда три ноты – знак. Тот, кто угадал – прочитал мелодию, это был акт чтения. Читать можно «по буквам», «по слогам», «словами», «предложениями», «фрагментами», «страницами». Есть понятие «скорочтение». В музыке особенно ценится умение «играть с листа». Соответственно, знак – это единица чтения, которая может быть очень разной у разных людей. Определяется единица чтения моментом узнаваемости, моментом изобразительности – то и другое существует как «умозрение».

В истории науки существуют каверзные ситуации. Долгое время в физике теплоту считали видом жидкости, «теплородом». Уравнения под концепт теплорода писались с легкостью и полностью соответствовали практике. И все было хорошо, пока не попытались выделить теплород в «чистом виде» и создать особую науку о теплороде. В итоге убедились, что теплота подпадает не под категорию «вещь», а под категорию «движение». Подобная история происходит с семиотикой, которая тянется уже двадцать пять столетий.

## БИБЛИОГРАФИЯ

1. Гумбольдт В., фон. Язык и философия культуры. М. : Прогресс, 1985. 448 с.
2. Лукасевич Я. Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики. М. : Иностранная литература, 1959. 312 с.
3. Мерло-Понти М. Знаки. М. : Искусство, 2001. 428 с.
4. Семиотика / ред. Ю. С. Степанов. М. : Радуга, 1983. 634 с.
5. Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике. М. : Прогресс, 1990. 280 с.
6. Хайдеггер М. Время и бытие. М. : Республика, 1993. 447 с.
7. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М. : Мысль, 1998. Т. 2.
8. Elders L. Aristotle's Theory of the One: a commentary on book X of the Metaphysics. Van Gorcum, 1961.
9. Larkin M. T. Language in the Philosophy of Aristotle. Mouton, 1971. 113 p.